

Stanley Cohen  
Folk Devils and  
Moral Panics

*The Creation of the Mods and Rockers*

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ.	
МОРАЛЬНАЯ ПАНИКА КАК КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА . . . . .	7
Продолжать паниковать . . . . .	9
Расширения . . . . .	34
Критика . . . . .	43
ГЛАВА 1. ДЕВИАНТНОСТЬ И МОРАЛЬНАЯ ПАНИКА . . . . .	59
Трансакционный подход к девиантности . . . . .	63
Девиантность и массмедиа . . . . .	70
Случай модов и рокеров . . . . .	74
ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ . . . . .	86
Преувеличение и искажение . . . . .	91
Прогнозирование . . . . .	102
Символизация . . . . .	104
Описание как сфабрикованные новости . . . . .	109
ГЛАВА 3. РЕАКЦИЯ: МОТИВЫ МНЕНИЙ И УСТАНОВОК . . . . .	117
Ориентация . . . . .	120
Образы . . . . .	125
Причины . . . . .	135
Дифференциальная реакция . . . . .	140
Модусы и модели объяснения . . . . .	152
ГЛАВА 4. РЕАКЦИЯ: ФАЗЫ СПАСЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ УЩЕРБА . . . . .	156
Сенситизация . . . . .	156
Культура социетального контроля . . . . .	167
Эксплуатационная культура . . . . .	246

ГЛАВА 5. НА ПЛЯЖАХ:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ВОЗДЕЙСТВИЕ . . . . .	253
Постановка декораций: фаза предупреждения . . . . .	254
Массовки . . . . .	260
Публика . . . . .	274
Средства массовой информации . . . . .	278
Агенты контроля . . . . .	286
Итоги . . . . .	294

ГЛАВА 6. КОНТЕКСТЫ И БЭКГРАУНДЫ:

МОЛОДЕЖЬ ШЕСТИДЕСЯТЫХ . . . . .	299
Возникновение модов и рокеров . . . . .	300
Проблема и решение . . . . .	305
Стиль . . . . .	308
Социология моральной паники . . . . .	319
Подходя к концу . . . . .	329

ПРИЛОЖЕНИЕ. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ . . . . .	338
--	-----

Избранная литература для дополнительного

чтения . . . . .	345
------------------	-----

# Введение к третьему изданию

## Моральная паника

### как культурная политика

**К**НИГА «Народные дьяволы и моральная паника» была опубликована в 1972 году. Ее основой послужила моя докторская диссертация, написанная в 1967–1969 годах, а термин «моральная паника» во многом передает звучание конца шестидесятых<sup>1</sup>. Его тон особенно явно резонировал с предметами изучения новой социологии девиантности и зарождавшихся исследований культуры, такими как делинквентное поведение, молодежные культуры, субкультуры и стиль, вандализм, наркотики и футбольное хулиганство.

Когда в 1980 году вышло *второе издание* книги, я написал к нему введение («Символы беспокойства»), почти полностью посвященное «народным дьяволам» из заголовка (моды и рокеры), преимущественно в контексте субкультурных теорий делинквентного поведения, разработанных в Бирмингемском центре современных культурных исследований. В настоящем введении к *третье-*

---

<sup>1</sup> Термин «моральная паника» был впервые использован Джоком Янгом: *Young J. The Role of Police as Amplifiers of Deviancy, Negotiators of Reality and Translators of Fantasy // Images of Deviance / S. Cohen (ed.). Harmondsworth: Penguin, 1971. P. 37.* Вероятно, мы оба заимствовали его у Маршалла Маклюэна: *Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. М.: Кучково поле, 2014.*

му изданию я, напротив, ограничусь темой «моральной паники»: рассмотрю, как употребляли и критиковали это понятие на протяжении последних тридцати лет. Избранную библиографию читатель найдет на с. 345–350 наст. изд.

Для такого обзора имеются три взаимосвязанные отправные точки.

*Во-первых*, это сам предмет — тридцать лет моральной паники. Наблюдались целые кластеры реакций, которые вполне можно описать как «классическую» моральную панику, вне зависимости от того, применялся данный ярлык и/или его применение оспаривалось, будь то во время соответствующих событий или же впоследствии.

*Во-вторых*, та же публичная речь и медиадискурс, которые предоставляют нам свидетельства моральной паники, используют это понятие в качестве первопорядкового описания, рефлексивного комментария или критики<sup>2</sup>. Существуют как краткосрочные реакции на злобу дня («нынешняя моральная паника по поводу педофилов»), так и долгоиграющие общие рассуждения о «состоянии нашей эпохи».

*В-третьих*, метавзгляд академических дисциплин, в частности исследований медиа и культуры, дискурс-анализа и социологии девиантности, преступности и борьбы с ней. Они приняли и адаптировали понятие моральной паники, расширили его и подвергли критике, а также включили на правах ключевой идеи в состав социологии и посвятили ему стандартизированные статьи в учебниках и словарях<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> В британских газетах в период между 1984 и 1991 годами зафиксировано 8 упоминаний «моральной паники»; затем 25 — в 1992 году, и внезапный скачок — 145 — в 1993 году. С 1994 по 2001 год в среднем насчитывалось 109 упоминаний в год.

<sup>3</sup> См. книгу Кеннета Томпсона «Моральная паника», вышедшую в серии «Ключевые идеи» издательства Routledge: *Thompson K. Moral Panics*. L.: Routledge, 1998. Определения см.: *Johnson A.G. Blackwell Dictionary of Sociology*. Oxford: Blackwell, 2000; *Murji K. Moral Panic // Dictionary of Criminology*. L.: Sage, 2001.

Если мы называем нечто моральной паникой, это не значит, что этого нечто не существует, его вообще не было, а реакция основана на фантазии, истерии, заблуждении и иллюзии, либо публику одурачили власти. Тем не менее стоит обратить внимание на два взаимосвязанных допущения: применение ярлыка «моральная паника» предполагает, что охват и значение рассматриваемого явления преувеличиваются 1) сами по себе (в сравнении с иными, более надежными, достоверными и объективными источниками) и/или 2) в сравнении с другими, более серьезными проблемами. Такое применение ярлыка обусловлено тем, что либералы, радикалы и левые сознательно отказываются принимать тревоги общества всерьез. Вместо этого они продолжают придерживаться политически корректной повестки по преуменьшению значения традиционных ценностей и моральных вопросов.

#### ПРОДОЛЖАТЬ ПАНИКОВАТЬ

Объекты нормальной моральной паники довольно предсказуемы; то же можно сказать и о дискурсивных формулировках, используемых для их репрезентации. К примеру: они *новы* (возможно, находятся в спящем состоянии и их сложно распознать; обманчиво повседневные и обыденные, они незаметно подкрадываются к моральному горизонту) — но также и *стары* (замаскированные разновидности традиционного и хорошо известного зла). Они наносят ущерб *сами по себе* — и в то же время суть лишь *тревожные знаки*, указывающие на гораздо более глубокое превалирующее состояние. Они *прозрачны* (все видят, что происходит) — но и *неясны*: авторитетные эксперты должны раскрыть опасность, таящуюся за чем-то на первый взгляд вполне безобидным (например, расшифровать тексты рок-песен, чтобы показать, как они привели к резне в школах).

Объекты моральной паники связаны с семью известными кластерами социальной идентичности.

### *1. Молодые агрессивные мужчины из рабочего класса*

Чаще всего подходящим врагом становилась шпана из рабочего класса. Однако ее роли на протяжении десятилетий — футбольные хулиганы, грабители, вандалы, бездельники, угонщики ради забавы и похитители мобильных телефонов — не были привязаны к определенным субкультурным стилям. Господствующие субкультуры трудно идентифицировать из-за их разрозненности; приверженность моде, музыкальному стилю или футболу имеет слишком большой разброс для соположения и сравнения. В результате режима ограничений, установленного в годы правления Тэтчер и адаптированного новыми лейбористами, лузеров тихо выкинули за борт, чересчур тихо для любых публичных проявлений, вроде инцидентов с модами и рокерами. Все случаи беспорядков 1992 года в загородных муниципальных кварталах (в Бристоле, Солфорде и Бернли) были непродолжительными и сдержанными. За решительным исключением футбольного хулиганства, большинство массовых выступлений этих лет (беспорядки, бунты, волнения) организовывались на национальной почве (Брикстон, Лестер и Брэдфорд).

Помимо массовых выступлений выделяются два очень непохожих случая, оба названы по именам жертв. Первый из них, случай Джейми Балджера, был совершенно уникальным, но спровоцировал немедленную и яростную моральную панику; случай Стивена Лоуренса, хотя и оказался предвестником грядущих событий, вызвал весьма запоздалую, медленную и неоднозначную реакцию, так и не вылившуюся в панику в строгом смысле слова.

12 февраля 1993 года два десятилетних мальчика, Роберт Томпсон и Джон Венейблс, увели двухлетнего

Джеймса Балджера из супермаркета в Бутле (Ливерпуль). Они прошли с ним около двух с половиной миль до железной дороги, а затем забили его до смерти. Количество «детей, убивающих детей» весьма незначительно, и оно не растёт. Именно редкость и контекст этого события сделали его столь ужасным. Задолго до того, как в ноябре начался суд, история о Балджере превратилась в мощный символ всех зол Британии — «порода» жестоких детей, одичалых или безнравственных; отсутствие отцов, безответственность матерей и неблагополучие семей низшего класса; эксплуатация детских образов в демонстрации насилия по телевидению и в различных видео; безучастность окружающих: на зернистом экране некачественных систем видеонаблюдения видно прохожих, они смотрят, как два мальчика ведут малыша (вывернутая рука, по обеим сторонам от него два мальчика постарше, один идет с ним в ногу, другой мрачно тащит его вперед) на смерть.

Газета *The Sun* тут же призвала к «кампании в защиту нравственности ради спасения больного общества». Несколько дней спустя теневой министр внутренних дел Тони Блэр назвал новости недели «ударами молота по спящей совести страны, призывающими нас проснуться и не дрогнув взглянуть на то, что именно мы видим». *The Independent* (21 февраля 1993 года) использовала фразу Блэра в заголовке своей передовицы: «Удар молотом по нашей совести». В статье говорилось: «Британия — беспокойная страна, и ей действительно есть о чем беспокоиться». К концу недели Британия уже «изучала темные уголки своей души» (*The Economist*, 27 февраля 1993 года). Толика поздней модернистской рефлексии обнаружилась лишь у того, кто зарабатывает на жизнь морализаторством: архиепископ Джордж Кэри предупредил об опасности «скачивания в моральную панику».

Здесь таится опасность с готовностью принять простые объяснения. Брошенное вскользь замечание судьи —



«Я подозреваю, что демонстрация жестоких видеофильмов отчасти может служить объяснением ситуации» — тут же привело к возникновению фактоида: последним фильмом, который брал напрокат отец одного из мальчиков, был «Детские игры 3» (и впрямь мерзкое видео, в котором ребенок «убивает» одержимую куклу). В фильме сразу обнаружили «леденящие параллели» с убийством Джейми Балджера; оба мальчика «могли» посмотреть фильм (*Daily Mail*, 26 ноября 1993 года). Паника ударила по насилию в медиа. *The Sun* устроила публичное сжигание фильмов в жанре хоррор; по сообщениям, «Детские игры» были удалены из видеомгазинов; крупнейшая в Шотландии видеосеть сожгла все копии. Четыре месяца спустя старший инспектор полиции Мерсисайда заявил, что проверка семейных и прокатных видеотек показала: ни «Детские игры», ни другие похожие фильмы никто не смотрел.

Поиск смысла и причин произошедшего, разумеется, отнюдь не всегда сомнителен, простодушен или мифичен. Общественное мнение, социологические теории и поэтическое воображение<sup>4</sup> вынуждены были предпринять серьезные усилия, чтобы как-то осмыслить такое событие. Но во время моральной паники и медиабезумства нетипичный единичный случай упрощается до общих категорий борьбы с преступностью (таких как «подростковое насилие»). Теория, предложенная в качестве объяснения, опирается на недостаточное количество случаев; при применении ее к большому числу ситуаций мы получаем несправедливые результаты.

Стивен Лоуренс был восемнадцатилетним чернокожим подростком из Южного Лондона. Вечером 22 апреля 1993 года, когда они с другом стояли на автобусной остановке, группа из пяти или шести белых молодых людей начала

---

<sup>4</sup> См.: *Morrison B. As If. Cambridge: Granta, 1997.*

его оскорблять на расовой почве. Затем они пырнули его ножом в грудь, и через несколько часов он скончался.

Этот случай стал еще одной вехой. Он не был столь необычен, как история Балджера, но изобиловал не меньшими подробностями и получил даже большее и более длительное публичное и медийное освещение. Полиции не удалось привлечь к судебной ответственности известную группу подозреваемых, что вызвало целый ряд публикаций о ее некомпетентности и расистских взглядах. Спустя шесть лет непрерывных кампаний и заявлений — различных правозащитных организаций, групп по борьбе с расизмом и местного чернокожего сообщества, в том числе и от родителей Стивена Лоуренса — после завершения дознания, провалившегося частного иска, неполноценной внутренней полицейской проверки и расследования Управления по рассмотрению жалоб на действия полиции, было проведено судебное расследование, обошедшееся в 3 млн фунтов стерлингов (под руководством сэра Уильяма Макферсона, судьи в отставке), завершившееся в феврале 1999 года публикацией 335-страничного доклада<sup>5</sup>. Документ привлек огромное внимание общественности, и до сих пор при анализе работы полиции используются фразы «после Макферсона» или «после доклада о деле Стивена Лоуренса»<sup>6</sup>.

На первый взгляд имелись все ингредиенты для моральной паники. Сам доклад был направлен против расизма, факт которого был в нем установлен. Например: «Убийство Стивена Лоуренса было однозначно и недвусмысленно мотивировано только расизмом. Это было глубочайшей трагедией для его семьи. Это было оскорбле-

<sup>5</sup> *Macpherson W.* The Stephen Lawrence Inquiry. L.: HMSO, 1999.

<sup>6</sup> Два показательных примера: *McLaughlin E., Murji K.* After the Stephen Lawrence Report // *Critical Social Policy*. 1999. Vol. 19. No. 3. P. 371–85; *After Macpherson: Policing After the Stephen Lawrence Inquiry / A. Marlow, B. Loveday (eds).* Lyme Regis: Russell House Publishing, 2000.

нием для общества и в особенности для местного чернокожего сообщества в Гринвиче» (п. 1.11); «Никто так и не был осужден за это ужасное преступление, что наносит оскорбление как семье Лоуренса, так и обществу в целом» (п. 1.12). Среди самых важных причин неудачи названы профессиональная некомпетентность полиции и плохое руководство, однако главной проблемой является «пагубный и укоренившийся институциональный расизм», неспособность реагировать на нужды этнических меньшинств и «дискриминация, проявляющаяся в неосознанных предрассудках, невежестве, недомыслии и расистских стереотипах» (п. 6.34).

Почему же все это не привело к моральной панике? Несмотря на то что имя Стивена Лоуренса по-прежнему упоминалось, внимание общественности переключилось с жертвы на полицию. После быстрого исчезновения со сцены подозреваемых, чья культура насилия и расизма была вскоре забыта, полиция стала *единственным* объектом внимания публики. Доклад Макферсона обнаружил расколотую организацию, которая шлет обществу противоречивые и невразумительные сообщения, отмеченные «тревожащей неспособностью понять, насколько и почему важен вопрос расы»<sup>7</sup>. Именно из-за этой неспособности едва ли можно было ожидать, что полиция возьмет на себя бремя ответственности за фиаско с Лоуренсом и, тем более,отреагирует на дискредитирующее обвинение в «институционализированном расизме». Больше винить было некого, но полиция попросту не подходила на роль народных дьяволов. Более того, у нее была власть отвергать, преуменьшать или обходить любые неудобные для них претензии насчет виновности самой полиции<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> McLaughlin E., Murji K. After the Stephen Lawrence... P. 372.

<sup>8</sup> Как гласила передовица *The Sun* от 1 марта 1999 года: «Британия поддерживает наших бобби: результаты опроса *Sun* говорят в пользу критикуемых копов».

Пресса правого толка, в особенности *Daily Mail* и *Daily Telegraph*, утверждавшая, что она говорит от лица всего британского общества, напрямую помогала полиции. Эти газеты с поразительной точностью применяли методы, которые можно было бы внести в методичку под названием «Как предотвратить моральную панику». Представление об «институционализированном расизме» было разоблачено как бессмысленное, гиперболизированное и чересчур огульное; сам термин мог вызвать недовольство среди простых людей (теория стигматизации и амплификации девиации); он очерняет всю полицию из-за каких-то нескольких человек, заслуживающих порицания; британцы — толерантный народ, они маргинализировали ультраправых и позволили интегрироваться расовым меньшинствам. Доклад, заявляла *Daily Telegraph*, вполне мог происходить из «ультралевого лагеря», а некоторые из его выводов «граничат с безумием». Макферсон (охотник на ведьм, карающий за мысленные преступления) был «полезным придурком», которому промыло мозги «лобби по вопросу межрасовых отношений» (*Sunday Telegraph*, 21 и 28 февраля 1999 года; *Daily Telegraph*, 26 февраля 1999 года).

В конечном счете делу Лоуренса не достало трех компонентов, необходимых для успешной моральной паники. Во-первых, не было *подходящего врага*, легкой мишени, которую просто обвинить и у которой нет достаточной власти или, еще лучше, даже нет доступа к полям сражений культурной политики. Это явно не британская полиция. Во-вторых, не было *подходящей жертвы*, с которой любой мог бы себя идентифицировать, которой однажды мог бы стать кто угодно. Это явно не чернокожие подростки из бедных районов. В-третьих, не было консенсуса в том, что осуждаемые убеждения или действия являются не отдельными сущностями («дело не только в этом»), а неотъемлемой частью общественной жизни или что они

могут (и будут) происходить, если только «что-нибудь не предпринять». Очевидно, что не будь институционализированного расизма в полиции, его не было бы и в обществе в целом.

## *2. Насилие в школах: травля и стрельба*

Фильм 1956 года «Школьные джунгли» долгое время служил в Британии и США ярким образом зловещей жестокости школ в бедных районах. Насилие понимается как постоянный и обыденный фон: ученики друг против друга (травля, опасные агрессивные игры, демонстрация оружия); учителя против учеников (будь то формальные телесные наказания или непосредственно гнев и самозащита).

Эпизодически выплескивается возмущение по поводу насилия в школах и связанных с ним проблем — прогулов, массового исключения посредством перевода в специальные классы или учреждения, а с недавнего времени — и продажи наркотиков у входа в школу. Для полноценной моральной паники, однако, требуется исключительный или чрезвычайно драматичный случай. Извечные ритуалы травли в классе и на игровой площадке (в кои-то веки и девочки получают заслуженную долю внимания), как правило, подвергаются нормализации до тех пор, пока жертва не получит серьезную физическую травму или не покончит жизнь самоубийством.

Среди недавних примеров — череда массовых убийств и стрельба в школах. Первые картинки массовой стрельбы — из США середины 1990-х годов — были довольно непривычны: полиция фотографирует школьную территорию, парамедики стремительно увозят раненых, родители задыхаются от ужаса, дети обнимаются; наконец, цветы и записки у школьных ворот. В конце 1990-х, когда такие события были все еще редки, каждый новый случай описывался как «очень привычная история». Переход к риторике

ке моральной паники зависит не столько от числа случаев, сколько от когнитивного сдвига от «как такое могло произойти именно там?» к «это могло произойти где угодно». По крайней мере в США такой сдвиг ознаменовался бойней в «Колумбайне».

20 апреля 1999 года двое учеников, одетых в черное (одному из них семнадцать, другому только исполнилось восемнадцать), вошли в школу «Колумбайн» (1800 учеников) в тихом городке Литлтон, штат Колорадо. У них было два дробовика, пистолет и карабин. Они начали стрельбу — сначала по знакомым школьникам, занимавшимся физкультурой, затем убили учителя и двенадцать учеников и застрелились сами. Как это могло произойти? Журнал *Time* задался вопросом: «Чудовища по соседству: что заставило их так поступить?» (3 мая 1999 года). Заголовки британских газет (архетипические распространители моральной паники) предложили целый ряд объяснений. 22 апреля газета *Daily Mail* избрала идеологическое объяснение: «Ученики Гитлера». *The Independent* предпочла психопатологию: «Неудачники, убивающие за тычки», как и *Sunday Times* (25 апреля): «Кровожадная месть неудачников в плащах». *The Guardian* обошла проблему мотивации, пойдя умеренно-либеральным путем: «Резня, ставящая под вопрос роман Америки с оружием» (22 апреля).

Торопливость в поисках причинно-следственной связи — или по меньшей мере языка осмысления — обнаруживается во всех морально-панических текстах. Если «Колумбайн» в самом деле, по словам президента Клинтона, «пронзил душу Америки», то мы должны выяснить, почему *это* событие произошло и как предотвратить его повторение *где-либо еще*. Более того, если оно случилось в таком месте, как «Колумбайн» (а большинство массовых убийств в школах действительно происходят в самых обычных местах), то оно вполне может произойти где угодно.

Когда разворачиваются подобные истории, для комментариев приглашаются эксперты вроде социологов, психологов и криминологов, которые поставляют каузальный нарратив. Их дежурный дебютный ход — «посмотреть на вещи в перспективе» — обычно не очень помогает: «Школа — все еще наиболее безопасное место для детей; гораздо больше погибает дома, чем в классе».

### *3. Не те таблетки:*

*принимаемые не теми людьми и не в тех местах*

Моральная паника по поводу психоактивных веществ удивительно последовательна на протяжении уже около сотни лет: злой дилер и уязвимый потребитель; скользкий путь от «мягких» к «сильным» наркотикам; логика запрета. В список просто добавляются новые вещества: героин, кокаин, марихуана, затем наркотики шестидесятых — амфетамины (излюбленные таблетки модов) и ЛСД. Затем еще ряд веществ: дизайнерские наркотики, фенциклидин (РСР), синтетические наркотики, экстази, летучие растворители, крэк; и новые ассоциации — эйсид-хаус, рейвы, клубная культура, супермодели в стиле «героиновый шик».

В Британии Ли Беттс, вслед за Джеймсом Балджером, стала еще одним мелодраматическим примером моральной паники вокруг трагической гибели одного человека. 13 ноября 1995 года восемнадцатилетняя Ли Беттс потеряла сознание вскоре после того, как приняла таблетку экстази в одном из лондонских ночных клубов; она была доставлена в больницу и впала в кому. На следующий день — по не совсем понятным причинам — появились панические заголовки на тему страданий ее родителей; о злобных торговцах отравой; настойчиво повторяющееся послание «на ее месте мог быть ваш ребенок». Ли умерла через два дня. Ее родители стали регулярно вы-

ступать в СМИ, предупреждая об опасности экстази. Они мгновенно стали экспертами и моральными компасами — любое несогласие свидетельствовало бы о неуважении к их горю. Особый вес предупреждениям придавала респектабельность семьи Ли: отец — бывший полицейский, мать работала наркологом. Это означало, как объясняла *Daily Express*, что наркотики оказались «гнилью в сердце средней Англии». Ли была «девушкой из соседнего дома».

Эпизод многократно анализировался: сама история, реакция СМИ, ответная реакция левых либералов (против распространяемой СМИ паники) и даже реакция левых либералов на ответную реакцию, обвиняющая ее в том, что она представляет собой лишь зеркальное отражение, лишь обращение одного простого послания в другое, столь же простое<sup>9</sup>. Вместо «молодежная поп-культура повсеместно поощряет употребление наркотиков и подвержает нормализации другие антисоциальные действия и установки» мы имеем: «повсеместная паника СМИ при освещении этой проблемы способствует установлению ложного консенсуса, который отчуждает случайных потребителей наркотиков и подвергает их дальнейшей маргинализации».

История оказалась долгоиграющей. Почти полгода спустя беспокойство продолжало нарастать: «Даже лучшие родители самых уравновешенных детей опасаются, что в следующий уикенд один из них может каким-то образом оказаться Ли Беттс, умершей от приема экстази» (*Daily Telegraph*, 12 апреля 1996 года). Спустя год и два месяца со смерти Ли поп-звезда Ноэль Галлахер был вынужден извиниться перед ее родителями за слова о том, что употребление экстази стало обычным делом, при-

---

<sup>9</sup> См.: *Murji K. The Agony and the Ecstasy: Drugs, Media and Morality // The Control of Drugs and Drug Users: Reason or Reaction? / R. Coomber (ed.). L.: Harwood Publishers, 1998.*



том безвредным, для некоторых молодых людей. В марте 2000 года, примерно через пять лет после смерти Ли Беттс, о ее матери весьма часто писали, что она «набрасывалась» на Федерацию полиции Англии и Уэльса, проводящую исследование, в котором предлагалось смягчить некоторые законы об употреблении наркотиков. Отец Ли по-прежнему был узнаваемым авторитетом: «Отец жертвы экстази предупреждает об опасности наркотиков» (*Birmingham Evening Mail*, 12 октября 2000 года); «Отец Ли, умершей от наркотиков, находится здесь не для того, чтоб проповедовать» (Болтон, *UK Newsquest Regional Press*, 18 мая 2001 года).

#### *4. Насилие над детьми, сатанинские ритуалы и картотеки педофилов*

Термин «насилие над детьми» охватывает множество различных видов жестокости по отношению к детям — безнадзорность, физическое насилие, сексуальное насилие, — будь то со стороны их родителей, персонала интернатов, «священников-педофилов» или совершенно незнакомых людей. В последнее десятилетие общественное восприятие этой проблемы стало все больше фокусироваться на сексуальных посягательствах и сенсационно атипичных случаях за пределами семьи.

Реакции на сексуальное насилие над детьми зависят от непостоянных моральных принципов: образ насильника трансформируется; некоторые жертвы кажутся более подходящими, чем другие<sup>10</sup>. Ряд историй последних двадцати лет, повествующих о масштабном насилии в детских домах и других подобных учреждениях, говорит не о панике или даже тревоге, а о леденящем отвержении. Жерт-

<sup>10</sup> См.: *Jenkins P. Moral Panic: Changing Concepts of the Child Molester in Modern America. New Haven: Yale University Press, 1998.*

вы претерпевали годы неприятия и жестокого обращения со стороны собственных родителей и персонала, которые должны были о них позаботиться. Их жалобы старшим сотрудникам, чиновникам и политикам из местных органов власти наталкивались на недоверие, сговор с обвиняемой стороной и жесткое системное покровительство. Отрицание, разоблачение и осуждение шли волнами. Тот же паттерн применим к другим традиционным народным дьяволам — священникам-педофилам<sup>11</sup>.

Однако в середине 1980-х годов получила широкую огласку череда детских смертей при более «обычных» обстоятельствах, что привело к панике совсем иного толка. В знакомом преступном треугольнике — ребенок (невинная жертва), взрослый (злой преступник) и свидетели (шокированные, но пассивные) — появляется четвертая сторона: социальный работник, который пытается выступить спасителем, но по каким-то причинам оказывается обвинен во всех бедах. Социальные работники и профессионалы социальных служб были народными дьяволами среднего класса: либо доверчивыми слабаками, либо штурмовиками государства-няньки, либо безучастными бюрократами с холодным сердцем, поскольку не вмешались вовремя, чтобы защитить жертву, либо чрезмерно усердными докучалами с благими намерениями, поскольку безосновательно вторгались в ситуацию и вмешивались в частную жизнь.

Кливлендский скандал 1987 года вокруг сексуального насилия над детьми ознаменовал пик этого периода и отразил его основные темы: противоречия между социальной работой, медициной и правом; тревожность, деморализованность и особую уязвимость социальных работников, тем более это преимущественно женская про-

---

<sup>11</sup> См.: *Jenkins P. Pedophiles and Priests: Anatomy of a Contemporary Crisis.* Oxford: Oxford University Press, 1996.

фессия<sup>12</sup>. В течение трех месяцев с апреля того года около 120 детей (средний возраст от 6 до 9 лет) получили диагноз «пострадавшие от сексуального насилия в семье». В июне местная газета опубликовала сюжет о растерянных и возмущенных родителях, которые утверждали, что детей у них забрали социальные работники местной администрации на основании спорного диагноза сексуального насилия, поставленного двумя педиатрами в местной больнице. Об этой истории рассказывалось в *Daily Mail* 23 июня («Местный совет — родителям 200 ребят: “Отдайте своих детей”»).

Возникшая в результате моральная паника превратилась в яростную битву претензий и встречных требований. Ключевые фигуры — социальные работники, полиция, педиатры, врачи, юристы, родители, политики местного и общенационального уровней, затем представители суда — были настолько заняты переводением стрелок друг на друга, что не сумели прийти к минимальному консенсусу по сути эпизода.

Другой эпизод, в гораздо большей степени фиктивный, представляет собой один из наиболее типичных случаев моральной паники. На фоне весьма реального феномена сексуального насилия над детьми и инцеста появились «восстановленные воспоминания» о детском инцесте: жаркие споры о существовании вытесненных (и восстановленных) воспоминаний о сексуальном насилии, пережитом в детстве. Из этих терапевтических бездн выросла история о «ритуальном насилии над детьми», «культурных надругательствах над детьми» или о «сатанинской жестокости». Около 1983 года стали распростра-

---

<sup>12</sup> Два различных, но взаимодополняющих взгляда отражены в следующих работах: *Campbell B.* Unofficial Secrets: Child Sexual Abuse — The Cleveland Case. L.: Virago, 1989; *Parton N.* Governing the Family: Child Care, Child Protection and the State. L.: Macmillan, 1991 (в особенности см. гл. 4).

няться тревожные сообщения о детях (а также о взрослых, проходящих терапию и «восстанавливающих» свои детские воспоминания), которые якобы подверглись сексуальному насилию в ходе ритуалов тайных сатанинских культов, сопровождавшихся истязаниями, каннибализмом и человеческими жертвоприношениями. Сотни женщин были «матками»; детям калечили гениталии, заставляли есть кал, приносили в жертву сатане, расчленяли их тела и кормили ими участников, которые оказывались членами семьи, друзьями и соседями, воспитателями детских садов и видными членами сообщества. Претензии к разным частям этой истории объединили консервативных христианских фундаменталистов с феминистскими психотерапевтами.

Только одна из форм сексуализированного насилия над детьми не порождает ни сомнений по поводу реальности явления, ни моральных разногласий: похищение, изнасилование и убийство детей, в особенности девочек. Это поражает всех нас до глубины души. Существует паническое чувство уязвимости — как в смысле статистического риска (кажется, эти события происходят все чаще), так и в смысле эмоциональной эмпатии (что бы я чувствовал, если бы такое произошло с моим ребенком?). Сценарий становится все более узнаваемым: ребенок исчезает по дороге из школы; полиция создает следственную группу; опрашивают школьных друзей, соседей, учителей; отчаявшиеся, убитые горем родители выступают по телевидению; граждане присоединяются к полиции, прочесывая поля и реки...

Насильники — лучшие кандидаты на статус монстра. Похищение и убийство восьмилетней Сары Пейн в июле 2000 года привело к «крестовому походу» (по выражению газеты *News of the World*) в виде серии классических текстов, сотворяющих чудовищ. В передовице от 23 июля читаем: «ОГЛАСКА И ПОЗОР. В Британии живет 110 тыс.

лиц, совершивших сексуальные преступления в отношении детей... по одному на квадратную милю. Убийство Сары Пейн доказало, что полицейского контроля за этими извращенцами недостаточно. Итак, начиная с сегодняшнего дня, мы раскрываем, КТО они и ГДЕ они живут...». Перечень имен и ряд фотографий отражают то, что газета считает первобытным страхом, охватившим общество, и преподносит в качестве такового: «НЕ ЖИВЕТ ЛИ РЯДОМ С ВАМИ ЧУДОВИЩЕ?». Проверяем список, затем читаем: «ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У ВАС ЗА ПОРОГОМ ИЗВРАЩЕНЕЦ». Издание призывало сделать общедоступной информацию об осужденных, совершивших сексуальные преступления, и на протяжении следующих двух недель опубликовала фото, имена и адреса 79 преступников.

Было поднято множество очевидных и тревожных вопросов. Как был составлен список? (Частично на основе данных Скаутской ассоциации: «Скауты против тварей», объясняла газета.) Почему скачивание детской порнографии или соблазнение четырнадцатилетнего школьника его тридцатилетней учительницей приравниваются к изнасилованию и убийству ребенка? Преследование бывших осужденных, за которыми и так осуществляется контроль, подвергалось сомнению как контрпродуктивное. Под вопросом оказалась и сама свобода печати. Вскоре дала о себе знать особая опасность виджилантизма: толпы линчевателей требовали выселить поименованных преступников из муниципальных жилых кварталов. Особое внимание привлек район Полсгроув недалеко от Портсмута, где в течение недели группы численностью до 300 человек каждый вечер проводили марши к домам предполагаемых педофилов.

Общественные деятели должны были выразить сочувствие родителям и разделить их моральное негодование, но вместе с тем дистанцироваться от толпы. Это было проделано с легкостью путем повторения внутренне при-

сущих негативных по своей сути коннотаций линчующей толпы, властвующей толпы, примитивных атавистических сил, подхлестнутых газетой *News of the World*<sup>13</sup>. Тем самым рациональная политическая сфера была противопоставлена толпе: непостоянной, неконтролируемой и готовой взорваться.

### 5. Секс, насилие и обвинение медиа

Моральная паника по поводу якобы вредного воздействия популярных медиа и культурных форм — комиксов и мультфильмов, народного театра, кино, рок-музыки, видео со сценами насилия, компьютерных игр, интернет-порнографии — имеет долгую историю<sup>14</sup>. По мнению консерваторов, медиа романтизируют преступность, умаляют значение общественной безопасности и подрывают моральный авторитет; по мнению либералов, медиа преувеличивают риски преступлений и разжигают моральную панику, чтобы оправдать несправедливую и авторитарную политику по борьбе с преступностью. В подобного рода «медийной панике» спирали реакции на любой новой платформе весьма однообразны и предсказуемы: «серьезная озабоченность по поводу увлечения новейшими медиа немедленно переводит старые медиа в область принятия»<sup>15</sup>.

<sup>13</sup> Анализ освещения в газетах серии «действий толпы, направленных против педофилии» в Британии летом 2000 года см. в статье: *Drury J.* When the mobs are looking for witches to burn, nobody's safe: Talking about the reactionary crowd // *Discourse and Society*. 2002. Vol. 13. No. 1. P. 41–73.

<sup>14</sup> Об истории медийной паники по поводу новых форм медиа см. следующие работы: *Drotner K.* Modernity and Media Panics // *Media Cultures: Reappraising Traditional Media* / M. Skovmand, K.C. Schroder (eds). L.: Routledge, 1992; *Idem.* Dangerous Media? Panic Discourses and Dilemmas of Modernity // *Pedagogica Historica*. 1999. Vol. 35. No. 3. P. 593–619.

<sup>15</sup> *Drotner K.* Modernity... P. 52.

Грубая модель «влияния СМИ» практически не претерпела изменений: демонстрация насилия на той или иной платформе вызывает, стимулирует или порождает агрессивное поведение<sup>16</sup>. То обстоятельство, что четких свидетельств о наличии подобной связи нет, с избытком компенсируется уверенными обращениями к здравому смыслу и интуиции. Когда такие обращения исходят от представителей власти (например, судей) или авторитетных фигур (специалистов, профессионалов, правительственных экспертов), моральную панику легче поддержать, пусть даже за счет повторений. Широко распространена запретительная модель «скользкого пути»: если разрешены «хорроры», то почему бы не дать зеленый свет и «видео со сценами насилия»? Следующей будет детская порнография и, наконец, легендарные снафф-видео. Кампании в защиту цензуры, как правило, проводятся организованными группами с неменяющейся повесткой.

Некоторые из недавних медиапаник в большей степени саморефлексивны — можно ожидать, что им придется отражать обвинения в распространении моральной паники. Медиа хитрят. Они знают, что их аудитория открыта к разным мнениям и по-разному отвечает на «одно и то же» послание. И используют это знание то для поддержки своего негодования — разве можно упрекнуть СМИ хоть в чем-то зловредном? — то забывают об этом, когда в который раз начинают простодушно обвинять коллег: мощные, все более сплоченные и централизованные новостные медиа обвиняют *другие* медиаформы. Но их собственное влияние — наиболее ощутимо и сильно: оно формирует популистский дискурс и политическую повестку дня. Наиболее очевидно данное обстоятельство

---

<sup>16</sup> Недавний обзор (в основном резонансных жестоких преступлений) см. в сборнике: *Ill Effects: The Media-Violence Debate* / M. Barker, J. Petley (eds). L.: Routledge, 2001.

раскрывается в следующих двух примерах: случай с обманом системы соцобеспечения и случай с фальшивым поиском политического убежища.

#### *б. Мошенничество с соцобеспечением и матери-одиночки*

Сокращение социального обеспечения в годы Тэтчер сопровождалось целенаправленным насаждением атмосферы недоверия. Широко распространенные верования масс — представления о том, что значительное число прошений о социальном обеспечении фальшивые или мошеннические, поданы людьми, стремящимися воспользоваться государством всеобщего благосостояния («ободрать» его), — были официально подкреплены. Правительства подтверждали необходимость институциональных практик (законов, административных процедур), которые бы твердо и надежно отсеивали подделки. Правовые изменения предполагают — наряду с публичной культурой — «не только то, что каждый проситель *потенциально* является мошенником, но и то, что он или она, вероятно, является таковым»<sup>17</sup>.

«Обманщики социальной системы», «мошенники, наживающиеся на соцобеспечении» и «тунеядцы на пособиях» — довольно традиционные народные дьяволы. То же относится и к незамужним матерям. В 1980-е годы, однако, наблюдалась «своего рода сглаженная моральная паника» по поводу того, что молодые безработные девушки беременеют, остаются одинокими и уходят с рынка труда, выбирая материнство как полную занятость и попадая в зависимость от социальных пособий, а не от мужчи-

---

<sup>17</sup> *McKeever G. Detecting, Prosecuting and Punishing Benefit Fraud: The Social Security Administration (Fraud) Act 1997 // Modern Law Review. 1999. Vol. 62. No. 2. P. 269.*



ны-кормильца<sup>18</sup>. Наиболее активно кампания проходила с 1991 по 1993 год. Консервативные политики открыто связывали моральный призыв к людям взять на себя ответственность за свою жизнь с сокращением государственных расходов. Ситуация представлялась таким образом, что «девочки» беременеют для получения права на государственные пособия и даже «дополнительные подачки» или государственное жилье без очереди. В Британии кампания 1993 года «Назад к основам» произвела циничный конструкт: мать-одиночка оказалась мощной моральной угрозой<sup>19</sup>. В связи с осуждением родителей-одиночек в редакционной статье *Independent* (11 октября 1993 года) было замечено, что «консервативные политики подвергают их диффамации, которая была бы нелегитимной, будь она направлена на расовые меньшинства».

Образ матерей-одиночек как безответственных взрослых и несостоятельных родителей помогает легитимировать и оправдывать сокращение государственных услуг<sup>20</sup>. Есть и другие причинно-следственные скачки: «нерадивые матери» беременеют, чтобы получить государственное пособие; они воспитывают детей, которые в будущем станут преступниками; также где-то есть отцы, безработные и живущие за счет государства. Все это свидетельствует в пользу той самой низкой культуры, которая и создала проблему. Однако настоящую проблему представляет не что иное, как будущее нуклеарной семьи.

---

<sup>18</sup> McRobbie A. Motherhood, A Teenage Job // *The Guardian*. 5 September 1989.

<sup>19</sup> См.: Ward A. *Talking Dirty: Moral Panic and Political Rhetoric*. L.: Institute for Public Policy Research, 1996.

<sup>20</sup> См.: Evans P.M., Swift K.J. *Single Mothers and the Press: Rising Tides, Moral Panic and Restructuring Discourses // Restructuring Caring Labour: Discourse, State Practice and Everyday Life / S.M. Neysmith (ed.)*. Oxford: Oxford University Press, 2000.

7. *Беженцы и просители убежища: наводняют нашу страну, заполняют наши службы*

В медийном, общественном и политическом дискурсах Британии различия между иммигрантами, беженцами и просителями убежища полностью размыты. Вопросы, касающиеся беженцев и предоставления убежища, рассматриваются в рамках дискуссий об иммиграции, которые, в свою очередь, ведутся в рамках общих категорий расы, расовых взаимоотношений и этнической принадлежности. Сам этот фрейминг вовсе необязательно предполагает расизм. Есть сферы британского общества, где расизм подавлен или по крайней мере оспаривается. Консерваторы вполне могут поиграть с идеей, что «политическая корректность» есть не что иное, как моральная паника левых, но политический инстинкт велит им осуждать членов своей партии за расистские анекдоты.

Подобная деликатность не распространяется на беженцев и соискателей убежища. В 1990-е годы в Европе объявилась «новая враждебная повестка»<sup>21</sup>. На одном и том же уровне возникает повторяющееся ритуальное различие между подлинными беженцами (все еще имеющими право на сострадание) и фальшивыми просителями (без прав, в том числе на сострадание). Однако за этим различием скрывается более глубокий смысл, в котором некогда «морально неприкасаемая категория политического беженца»<sup>22</sup> оказалась деконструированной.

Правительства и СМИ начинают с широкого общественного консенсуса: *во-первых*, мы должны не допустить к себе как можно больше беженцев-иностран-

<sup>21</sup> См.: Doly J. et al. Refugees in Europe: The Hostile New Agenda. L.: Minorities Rights Group, 1997.

<sup>22</sup> См.: Cohen R. Frontiers of Identity: The British and the Others. L.: Longman, 1994.

цев; *во-вторых*, эти люди всегда лгут, чтобы их приняли; *в-третьих*, необходимо использовать строгие критерии соответствия и, следовательно, проверку на благонадежность. В течение двух десятилетий СМИ и политическая элита всех партий уделяли пристальное внимание понятию «подлинность». Подобная *культура недоверия* пронизывает всю систему. «Фальшивые» беженцы и просители убежища на самом деле были изгнаны из своих стран не из-за преследований: это попросту «экономические» мигранты, которых привлекает «горшочек с медом» «добродушной Британии».

В своей риторике таблоиды, в особенности *Daily Mail* (чья кампания по очернению чересчур обдуманна и мерзка, чтобы ее можно было принять за простую моральную панику), опускают несколько деталей из приведенных допущений, и нетипичное становится типичным, оскорбительные ярлыки применяются уже ко всем без разбора. (Дихотомия фальшивого и подлинного фигурировала также в 58% всех соответствующих статей за 1990–1995 годы в газетах *The Guardian*, *The Independent* и *The Times*; в трети случаев *The Guardian* и *The Independent* либо критиковали эту идею, либо цитировали других<sup>23</sup>.)

Этот сегмент кардинально отличается от предыдущих шести примеров. Во-первых, несмотря на периодические вспышки паники по поводу конкретных новостных эпизодов, общий нарратив представляет собой единое, практически непрерывное послание враждебности и отторжения. Постоянное фоновое изображение время от времени перебивает яркая маленькая картинка: тамилы, раздевающиеся в знак протеста в аэропорту; курды, цепляющиеся

---

<sup>23</sup> См.: *Kaye R. Redefining the Refugee: The UK Media Portrayal of Asylum Seekers // The New Migration in Europe: Social Constructions and Social Realities / K. Koser, H. Lutz (eds). L.: Macmillan Press, 1998. P. 163–182.*

за раму под вагоном европейского поезда; китайцы, задыхающиеся в контейнеровозах. Во-вторых, эти реакции откровенно политические, более, нежели любые другие — не только потому, что проблема вызвана глобальными политическими изменениями, но и благодаря их долгой истории в британской политической культуре. К тому же сменявшие друг друга британские правительства не только направляли и легитимировали враждебность в обществе, но и говорили при этом с интонациями, неотличимыми от таблоидной прессы.

Уровень нетерпимости в лексиконе словесных оскорблений в медиа поддерживался на постоянной отметке. Недавний анализ показал, что шотландские газеты привлекают внимание к одним и тем же негативным определениям и расовым стереотипам; выдают за факты мифы о просителях убежища; с неприкрытой враждебностью относятся к пребыванию соискателей убежища в Британии и открыто предлагают им вернуться на родину<sup>24</sup>. (При этом следует отметить, что только 44% упоминаний были признаны полностью негативными, тогда как 21% — сбалансированным, а 35% — позитивными.)

Социолингвистическое исследование, проведенное в совершенно ином культурном контексте — на материале сообщений австрийских газет по поводу курдских просителей убежища в Италии в 1998 году, — прекрасно распознает «метафоры, с помощью которых мы дискриминируем»<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> См. доклад британской программы «Оксфам» по борьбе с бедностью в Шотландии: *Asylum: The Truth Behind the Headlines*. Oxfam, February 2001. В рамках этого проекта за двухмесячный период (с марта по апрель 2000 года) был проведен мониторинг шести шотландских газет: в общей сложности 263 статьи по вопросам беженцев и соискателей убежища.

<sup>25</sup> См.: *El Refaie E. Metaphors We Discriminate by: Naturalized Themes in Austrian Newspaper Articles about Asylum Seekers // Journal of Sociolinguistics*. 2001. Vol. 5. No. 3. P. 352–371.

Три главные метафоры изображают соискателей убежища как *воду* («приливные волны»), *преступников* или *вражескую армию*. Повторение этих мотивов в относительно неизменном лексическом и синтаксическом виде показывает, что они представляют собой «естественный» способ описания ситуации. «Натурализация» отдельных метафор позволяет размыть границы между буквальным и фигуральным.

Схожие метафоры — а также некоторые другие — появляются и в британских газетах.

- Вода представлена словами *потоп*, *волна*, *наводнение*, *приток*, *нахлынуть (в)*, *прилив* и *захлестывание*. К примеру: «Лейбористы позволят притоку мигрантов захлестнуть страну» (*The Sun*, 4 апреля 1992 года).

- Беженцы более агрессивны и чаще совершают преступления: «Тысячи людей уже [пришли в Британию], принеся на улицы многих английских городов террор и насилие» (*Sunday People*, 4 марта 2001 года). «Убежище, доступное для всех, — это бомба с замедленным действием, и отсчет уже пошел... однажды она может взорваться, и последствия для общества будут ужасающими» (*Scottish Daily Mail*, 13 апреля 2000 года). Они изначально нечестные, *обманщики*, *мошенники*, *лжецы*, *фальшивые*. «Народный гнев: 20 тыс. фальшивых просителей убежища обманули систему, чтобы остаться в Британии; гоните их прочь» (*Daily Express*, 30 июля 2001 года).

- Беженцы — это *имдивенцы* и *попрошайки*, которые всегда ищут *подачек* и стремятся *подоить* систему.

- И это им легко удается, ведь Британия — *гавань* с щедрыми пособиями (*молоко и мед*), чрезвычайно *добродушная*: «Не позволим сделать из Британии простофилю» (*Sunday Mirror*, 4 августа 2001 года); «Лейбористы превратили Великобританию в гавань для беженцев» (*Daily Mail*, 7 августа 1999 года); Британия — это «первоочередный пункт назначения для просителей убежищ»

(*Daily Telegraph*, 19 февраля 2001 года»; «Берег подачек для фальшивых беженцев» (*Scottish Sun*, 11 апреля 2000 года).

- Эти метафоры и образы обычно комбинируются: «Добродушие, пускающее к нам беженцев-пройдох» (*Press Association*, 4 ноября 1999 года); «Мошенники в поиске убежища продолжают наводнять Британию: Британия легковерна в вопросе предоставления убежища» (*Daily Express*, 26 апреля 2001 года); «Мы возмущены тунеядцами, попрошайками и жуликами, которые готовы пересечь любую границу в Европе, чтобы воспользоваться нашей щедрой системой социального обеспечения» (*The Sun*, 7 марта 2001 года).

- Заголовки «Прямой речи» (*Straight Talking*), постоянной колонки Дэвида Меллора в *People*, составляют коллаж из этих тем: «Почему мы должны развернуть волну изворотливых евробеженцев» (29 августа 1999 года); «Пускай нахлебники собирают вещи, не то мы обанкротимся» (13 февраля 2000 года); «Выдворите весь этот мусор» (5 марта 2005 года). И в конце концов: «Когда говорить правду считается расизмом» (16 апреля 2000 года).

Немедленное действие этого выдержанного яда легко представить, но труднее доказать. За три августовских дня 2001 года в жилом комплексе в Глазго зарезали одного курдского просителя убежища, еще двое курдов подверглись нападению. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) опубликовало заявление, в котором говорилось, что событие было вполне предсказуемым, учитывая «атмосферу очернения соискателей убежища, которая царила в Великобритании последние годы». Очернение было настолько успешным, что слова «проситель убежища» и «беженец» стали оскорблениями на школьных игровых площадках.

Поскольку эта область столь откровенно политизирована, возникла сильная оппозиция. Многие неправительственные правозащитные организации, организации за

гражданские свободы и движения против расизма уделяют особое внимание борьбе с пагубными последствиями панического дискурса. Более специализированные группы, такие как *Press Trust* и *RAM (Refugees, Asylum-seekers and the Mass Media)* — «Беженцы, просители убежища и масс-медиа»), ведут работу только по противодействию медийным образам и мифам.

В мае 2002 года лейбористское правительство объявило о новой серии планов под лозунгом «нулевого принятия»: закрыть лагерь беженцев Сангатт на французской стороне Ла-Манша; перехватить суда с нелегалами; ускорить процедуру депортации. *Daily Star* под заголовком «Убежище: 9 из 10 — аферисты» (22 мая 2002 года) запустила типичную сопутствующую панику, нацеленную на «продажных сотрудников иммиграционной службы»: обученные за счет налогоплательщиков, они увольняются с работы и продают свои экспертные знания на дорогостоящих консультациях, обучая фальшивых просителей убежища, как обойти систему.

## РАСШИРЕНИЯ

Понятие моральной паники вызывает некоторое беспокойство, особенно в отношении ее моральности. Почему реакцию на феномен А обесценивают и принижают, описывая ее как «еще одну моральную панику», в то время как предположительно более значимый феномен Б игнорируется и вовсе не рассматривается в качестве потенциального носителя морального значения?

Это не только вполне законные вопросы, это *проблемы*. Подобно народным возражениям против теории стигматизации, социального конструктивизма и теории дискурса в целом, такие вопросы укрепляют саму позицию, которую пытаются атаковать. Они могут быть поставлены, только если отсутствие согласованности между дей-

*ствием* (событием, состоянием, поведением) и *реакцией* верно понимается как нормальное и очевидное. Указание на сложность взаимосвязей между социальными объектами и их интерпретациями — вовсе не «критика»: в нем заключается вся суть изучения девиантного поведения и социального контроля. Некоторые тривиальные и безобидные формы нарушения правил действительно могут оказаться мухой, из которой сделали слона. И да, некоторые весьма серьезные, значительные и ужасные события — даже геноцид, политические убийства, зверства и массовые страдания — можно отрицать, игнорировать или обесценивать<sup>26</sup>. Большинство гипотетических проблем располагается между этими двумя крайностями — вот почему именно там и требуется сравнительная социология моральной паники, которая проводит сопоставления в рамках одного общества и между обществами. Почему же в таком случае коэффициент X состояния Y порождает моральную панику в одной стране, но не в другой, при тех же условиях?

Значит, безусловно, необходимо более четко определить понятие. Комментаторы выделили различные элементы исходного определения<sup>27</sup>.

1. *Беспокойство* (а не страх) по поводу потенциальной или воображаемой угрозы.

2. *Враждебность* — моральное негодование в отношении акторов (народных дьяволов), которые олицетворяют проблему, и ведомств (наивных социальных работников, пиарящихся политиков), на которых «в конечном счете» лежит вся ответственность (и которые сами, в свою очередь, могут стать народными дьяволами).

<sup>26</sup> См.: *Cohen S. States of Denial: Knowing About Atrocities and Suffering. Cambridge: Polity, 2001.*

<sup>27</sup> См., например: *Goode E., Ben-Yehuda N. Moral Panics: The Social Construction of Deviance. Oxford: Blackwell, 1994.*



3. *Консенсус* — широко распространенное, но необязательно полное согласие по поводу того, что угроза существует, имеет вес и что «необходимо предпринять меры». Большинство элитных и влиятельных групп, особенно массмедиа, должны разделять этот консенсус.

4. *Непропорциональность* — преувеличение количества или тяжести случаев с точки зрения нанесенного ущерба, морального оскорбления и потенциального риска в случае игнорирования. Публичная обеспокоенность не прямо пропорциональна объективному ущербу.

5. *Непредсказуемость* — паника вспыхивает, как и затихает, внезапно и без предупреждения.

Я еще вернусь к этим элементам, особенно к двум последним. Но прежде рассмотрю ряд более сложных теорий, которые не были доступны тридцать лет назад.

### 1. Социальный конструктивизм

Книга «Народные дьяволы и моральная паника» опиралась на возникшую в 1960-х годах смесь теории стигматизации, культурной политики и критической социологии. Нынешним исследователям моральной паники не приходится прибегать к этому теоретическому гибриду. Они могут сразу перейти к литературе, посвященной социальному конструктивизму и выдвижению требований<sup>28</sup>. Это хорошо разработанная модель изучения спорных требований, которые выдвигаются (жертвами, заинтересованными группами, общественными движениями, профессионалами и политиками) при конструировании новых категорий социальных проблем.

Типичные случаи охватывают вождение в нетрезвом виде, преступления на почве ненависти, преследование (сталкинг), проблемы окружающей среды, психиатриче-

<sup>28</sup> Список литературы см. на с. 345–350 наст. изд.

ские категории, такие как посттравматическое стрессовое расстройство и различные зависимости, расстройства пищевого поведения и нарушения способности к обучению. Моральная инициатива складывается из многих различных направлений: из традиционных «незаинтересованных» сил (например, помогающих профессий), заинтересованных групп (например, фармацевтических компаний) и радужной коалиции мультикультурных групп и групп на основе идентичности, каждая из которых претендует на удовлетворение собственных нужд и прав. Риторика виктимности, жертв и виктимизации — общая нить этих новых форм выдвижения требований: вторичные жертвы, такие как «Матери против вождения в пьяном виде», борются за более суровое наказание виновных; участники кампаний за права животных выступают за криминализацию жестокости по отношению к бессловесным жертвам; предполагаемые жертвы, например, больные — ветераны войны в Персидском заливе, требуют официального признания их синдрома и последующей компенсации.

Конструирование социальных проблем всегда требует своего рода предприятия или инициативы. Однако оно не нуждается в моральной панике. Этот особый режим реагирования может усилить процесс конструирования (и затем быть им поглощенным). Или же никогда не достигнет этой точки, так и останется криком негодования.

«Но есть ли там хоть что-то?» У конструктивистов имеется целый ряд хорошо продуманных ответов на этот вопрос. В «сильной», или «строгой», версии есть конструкты и только конструкты; социолог — лишь один из тех, кто выдвигает утверждения; в «слабом», или «контекстуальном», конструктивизме социолог может (и должен) производить проверки на соответствие действительности (выявлять преувеличения) и в то же время показывать, как социально конструируются проблемы. Я бы также провел различие между *шумными* конструкциями, в

которых возникает (обычно на ранних этапах) моральная паника, связанная с единичным сенсационным случаем, и *тихими* конструкциями, где утверждения выдвигают профессионалы, эксперты или бюрократы из организаций, не имеющих публичного или массмедийного освещения.

## 2. Исследования медиа и культуры

Когда в шестидесятые годы понятия вроде «моральной паники» и «амплификации девиантности» только возникли, они были симбиотически связаны с определенными допущениями относительно массмедиа. Важнейшие казуальные связи принимались как нечто само собой разумеющееся — в частности, что СМИ выступают основным источником знаний общественности о девиантности и социальных проблемах. В драмах моральной паники медиа выступают в любой из нижеперечисленных ролей, если не во всех трех сразу.

1. *Установление повестки* — отбор тех девиантных или относящихся к социальной проблематике событий, которые считаются достойными освещения в новостях, а затем использование более тонких фильтров для отбора событий, способных стать предметом моральной паники.

2. *Трансляция образов* — передача требований тех, кто их выдвигает, путем заострения или приглушения риторики моральной паники.

3. *Нарушение молчания, выдвижение утверждений*. Сегодня, по сравнению с тем, что было тридцать лет назад, сами медиа все чаще выдвигают утверждения. Разоблачения в СМИ — будь то рассказ *The Guardian* о коррупции в правительстве или заголовок *The Sun* «Хотели бы вы, чтобы вашим соседом оказался педофил?» — нацелены на одну и ту же моральную развязку: «Мы называем виновных».

За эти годы теория дискурса и дискурс-анализ получили существенное развитие. Теперь от меня требовал-

ся бы *разбор* речи брайтонских судей или редакционных статей из *Hastings Observer* как *текстов* или *нарративов*, чтобы *проблематизировать* их *опосредованную репрезентацию* установки *дистанцированного другого* по отношению к *постулированному внешнему миру*. Все это далеко от того, что я сам сейчас считаю слабейшим звеном книги: между моральной паникой и народными дьяволами. Весьма разумная критика простых моделей «стимул/реакция» и «следствия» едва ли хоть как-то коснулась шаткой идеи, согласно которой медиа амплифицируют девиантность. Речь идет о причинно-следственной связи не в конструктивистском смысле — как если бы моральная паника «вызывала» народных дьяволов, стигматизируя больше действий и людей, — а во вполне позитивистском, без кавычек. В этой психологии до сих пор используются такие понятия, как «запуск» (triggering off), «заражение» и «внушаемость». Позднейшие когнитивные модели гораздо более правдоподобны. Для тех, кто определяет, и для тех, кого определяют, сенсбилизация становится вопросом когнитивного фрейминга и моральных порогов. Вместо того чтобы искать стимул (медийное послание) и реакцию (поведение аудитории), мы ищем точки, в которых моральное сознание растет («расширение определения девиантности») или падает («сужение определения девиантности»).

За эти годы также существенно изменилось освещение преступлений, девиантности и социальных проблем в медиа. Одно из исследований, посвященных сообщениям о преступлениях в британских СМИ на протяжении последних пяти десятилетий, показало, что преступность все чаще изображается как реальная угроза не только для уязвимых жертв, но и для простых людей в повседневной жизни<sup>29</sup>. С преступления, правонарушителя и уголовного

---

<sup>29</sup> *Reiner R.* The Rise of Virtual Vigilantism: Crime Reporting Since World War II // *Criminal Justice Matters*. 2001. Vol. 43. No. 1. P. 4–5.

судопроизводства внимание переключается на космологию, выстроенную вокруг жертвы. Если биография, мотивация и контекст преступников отходят на второй план, их легче демонизировать. Такой контраст между опасными хищниками и уязвимыми невинными жертвами позволяет медиа сконструировать то, что Райнер называет «виртуальным виджилантизмом». Мы видим это в новых реалиях «таблоидного правосудия»<sup>30</sup> и в культуре жертв, поощряемой ток-шоу наподобие шоу Джерри Спрингера.

Массмедиа продолжают разыгрывать эти дюркгеймианские церемонии установления границ. Но они стали отчаянными, бессвязными и замкнутыми на себе, самореферентными. Это происходит потому, что с конца 1960-х годов они идут вразрез с изменениями в медийной репрезентации преступности и правосудия: моральный облик полиции и других властей запятнан; говоря о преступности, мы имеем в виду уже не столько посягательство на священные и консенсуальные ценности, сколько прагматический вопрос об ущербе, который может быть причинен отдельным жертвам. В первую очередь преступность может быть представлена как часть более широкого дискурса о риске. Это означает, что нарративы моральной паники должны отстаивать «более сложный и хрупкий» социальный порядок, защищать культуру, не пользующуюся должным уважением.

### 3. Риск

Часть социального пространства, ранее занятая моральной паникой, заполнилась зачаточными социальными тревогами, неуверенностью и страхами, которые подпитывали специфические риски: рост новых «технотревог» (ядерный, химический, биологический, токсический и экологический риски), страх заболеть, паника по поводу

---

<sup>30</sup> *Fox R L., Van Sichel R. Tabloid Justice: Criminal Justice in an Age of Media Frenzy. Boulder: L. Rienner Publishers, 2001.*

продуктов питания, неуверенность в безопасности поездов и самолетов и страх перед международным терроризмом. «Общество риска» — по известной формулировке Бека — сочетает в себе порождение риска с продуманными уровнями управления рисками наряду со спорами о том, как осуществлять это управление. Конструирование риска относится не только к необработанным сведениям об опасных или неприятных вещах, но и к способам их оценки, классификации и реагирования на них. Усовершенствованные недавно методы прогнозирования риска (такие как актуарные таблицы, психологическое профилирование, оценка безопасности) сами по себе становятся объектами культурного анализа. Если при использовании этих методов мы приходим к различным выводам — «Прозак является безопасным лекарством», «Прозак является опасным лекарством», — дискурс переключает внимание на оценочные критерии или на авторитетность, надежность и достоверность источника, выдвигающего требования. Если отклониться от первоначальной «темы» еще дальше, переключение внимания приобретает моральную составляющую: теперь рассматриваются характер и моральная состоятельность тех, кто выдвигает требования. Имеют ли они право высказываться таким образом? Не является ли их экспертиза всего лишь еще одной разновидностью моральной инициативы?

Рассуждения о риске теперь вписываются в более широкую культуру незащищенности, виктимизации и страха. Как технический вопрос анализа рисков, так и культура разговоров о риске в широком смысле оказали влияние на область девиантности, преступности и социального контроля. Это со всей очевидностью демонстрируют меры по борьбе с преступностью, вроде *ситуационного предупреждения преступлений*, опирающиеся на модель риска и рациональности. «Новая пенология», основанная на предотвращении, рациональном выборе, благоприятных возможностях, актуарном моделировании и т.д., не пол-

ностью вобрала в себя современную идеологию борьбы с преступностью. Согласно одному мнению, эти новые методы управления и менеджмента до сих пор «прерываются» эпизодическими спазмами старой морали. Согласно другому, теоретики и менеджеры в сфере уголовной юстиции прибегают к риторике риска — в то время как общественность и массмедиа продолжают свои традиционные нравоучения<sup>31</sup>. Ни одна из двух точек зрения не учитывает ни нынешние стилизованные (на грани самопародии) панические крики таблоидов, ни настоящий гнев, негодование, возмущение и страх толпы, колотящей по фургону с насильником у здания суда.

Глобальный масштаб общества риска, его повсеместное распространение и саморефлексивность создают новый фон для стандартной моральной паники. Восприятие повышенного риска вызывает у нас образы паники. В популистской же и электоральной риторике, когда речь идет о страхе перед преступностью, городской незащищенности и виктимизации, понятия риска и паники связываются естественным образом. Однако сфера политической морали обладает различительной способностью в достаточной степени, чтобы не превращать панику по поводу коровьего бешенства или ящура в *моральную*. Только если анализ риска будет восприниматься *прежде всего* как моральный, а не технический (пойти на риск — значит вести себя морально безответственно), различие исчезнет. Некоторые авторы утверждают, что это уже произошло. История ВИЧ и СПИДа показывает, как чисто органическая природа этого состояния морально конструируется и в дальнейшем приводит к изменению ценностных позиций в отношении сексуальности, гендера и социального контроля. Демография риска с самого начала приписывала моральное падение гомосексуалам и другим группам.

---

<sup>31</sup> *Garland D. The Culture of Control. Oxford: Oxford University Press, 2001.*

Отсюда еще не следует, что язык общества риска берет верх или должен взять верх над моральной программой<sup>32</sup>. Публичные рассуждения о безнадзорности детей, сексуальном насилии или уличных ограблениях оказывают сильное сопротивление языку вероятностей. Умные статистические данные, согласно которым ваш риск стать жертвой очень низок, не более утешительны, чем сообщение медиков-эпидемиологов о том, что вы относитесь к категории людей с небольшой вероятностью заразиться болезнью, от которой уже страдаете.

Вместо того чтобы «применять» теорию риска к изучению моральной паники, целесообразнее было бы помнить, что большинство заявлений об относительном риске, безопасности или угрозе опирается на политическую мораль. Как изначально утверждала Дуглас, существенные разногласия по поводу «того, что рискованно, насколько рискованно и какие меры следует предпринять», с чисто объективной точки зрения, непреодолимы. Более того, восприятие и принятие риска тесно связаны с вопросом, кто и перед кем — как считается — несет ответственность за допущение опасности или причинение ущерба<sup>33</sup>. Такое назначение виновных является неотъемлемой частью моральной паники.

## КРИТИКА

Взяв — или не взяв — на вооружение эти новые теоретические расширения, мы можем приступить к рассмотрению дежурных возражений против теории моральной паники.

---

<sup>32</sup> *Unger S. Moral Panic versus the Risk Society: Implications of the Changing Sites of Social Anxiety // British Journal of Sociology. 2001. Vol. 52. No. 2. P. 271–292.*

<sup>33</sup> Основные публикации Мэри Дуглас на эту тему («Риск и культура» и «Риск и вина») см. в монографии: *Farndon R. Mary Douglas: An Intellectual Biography. L.: Routledge, 1999. P. 144–167.*



### 1. Почему «паника»?

Спор об определении термина «паника» очень хлопотен. Я считаю, что «панику» по-прежнему можно толковать как расширенную метафору и, более того, что сходство между *большинством* моральных паник и *некоторыми* другими действительно существует.

Тем не менее термин не слишком удачен из-за ассоциаций с иррациональностью и неуправляемостью. Он навязывает образ яростной толпы или массы — атавистической, подверженной влиянию и бреду, поддающейся контролю демагогов и, в свою очередь, контролирующей других «властью толпы». В газетных сообщениях за последнее десятилетие читаем: *в тисках (или обстановке) моральной паники... поднять моральную панику... моральная паника вспыхнула (или разразилась, была развязана)... спекулянты на моральной панике (или торговцы моральной паникой)... охвачены моральной паникой*. Я призываю к дальнейшей критике, используя два довольно специфических примера массовой паники: во-первых, коллективные заблуждения и городские мифы (подразумевая, что эти представления и убеждения основывались на галлюцинациях, всецело воображаемых реалиях); во-вторых, стихийные бедствия, что вызывает образы истеричной толпы, совершенно неуправляемой, убегающей от неминуемой опасности.

Поначалу я оправдывался и соглашался на низведение «паники» до простой метафоры, но я все также убежден, что аналогия работает. Современная социологическая литература на тему катастроф и экологических проблем расширила определение социального. Произошла денатурализация природы. Обстоятельства обычной социальной жизни — разделение власти, класса и гендера — влияют на риски и последствия таких событий. Модели «экологической справедливости» показывают, насколько социально

детерминированы такие опасности, как близость к ядерным отходам. И точно так же, как Эриксон использовал охоту на ведьм и религиозные преследования XVII века, чтобы понять, как девиантность и социальный контроль испытывают на прочность и укрепляют моральные границы (см. главу 1), он позже показал, что катастрофы могут рассматриваться в качестве социальных событий<sup>34</sup>. В отличие от традиционных природных катастроф «технические» относятся к «новым видам тревог». Они превратились в «обычные несчастные случаи» — катастрофы, встроенные в привычное: обрушение футбольной трибуны, авария на железнодорожных путях, падение моста, крушение парома, провал программы онкологического скрининга. Ответные реакции не столь однородны, машинальны или просты, как это и положено, на фоне сложностей морального дискурса. Они действительно во многом сходны с реакциями, которые обнаруживаются в весьма противоречивом поле всех моральных паник<sup>35</sup>.

Критерии, по которым нарративы, созданные массмедиа, легко распознаются как моральная паника, нуждаются в более тщательном объяснении: драма, чрезвычайная ситуация и кризис; преувеличение; почитаемые ценности, оказавшиеся под угрозой; предмет беспокойства, тревога и враждебность; силы зла или личности, которых необходимо идентифицировать и остановить; в конечном счете осознание эпизодичности и мимолетности и т.д. Томпсон справедливо отмечает, что два фактора из перечисленных на деле проблематичны: во-первых, *непропорциональность* и, во-вторых, *непредсказуемость*<sup>36</sup>. В то время как консерваторы жалуются, что теоретики моральной пани-

<sup>34</sup> Erikson K.T. Everything in Its Path: Destruction of Community in the Buffalo Creek Flood. N.Y.: Simon and Schuster, 1976.

<sup>35</sup> См.: Scraton P. Hillsborough: The Truth. Edinburgh: Mainstream, 2001.

<sup>36</sup> Thompson K. Moral Panics... P. 8–11.

ки используют непропорциональность весьма избирательно, безуспешно скрывая свою леволиберальную политическую повестку, критика непредсказуемости исходит от радикалов, для которых допущение непредсказуемости не является достаточно основательным или политическим.

## 2. Непропорциональность

Само употребление термина «моральная паника», начинают свою критику консерваторы, подразумевает, что реакция общества непропорциональна фактической серьезности (рisku, ущербу, угрозе) события. Реакция всегда *более* острая (следовательно, преувеличенная, иррациональная, неоправданная), чем того требует состояние (событие, угроза, поведение, риск). Почему это считается само собой разумеющимся? И на каком основании точка зрения социолога всегда правильна, рациональна и обоснована?

Даже в этих ограниченных терминах допущение непропорциональности проблематично. Как можно точно оценить и сравнить друг с другом тяжесть реакции и состояние? Идет ли речь об интенсивности, длительности, протяженности? Более того, согласно этой логике, у нас нет ни количественных, объективных критериев, чтобы утверждать, что R (реакция) «непропорциональна» A (действию), ни универсальных моральных критериев, чтобы судить о том, что R является «неуместной» реакцией на моральную тяжесть A.

Это возражение имеет смысл, если у нас нет ничего, кроме компендиума отдельных моральных суждений. Только будучи изначально приверженными «внешним» целям, таким как социальная справедливость, равенство и права человека, мы можем оценить одну моральную панику или судить о ней как о более лицемерной, чем другая. Однако эмпирически, несомненно, существует множество паник, где суждения о пропорциональности уместны и необходимы — даже если предметами оценки выступа-

ют только лексика и риторический стиль. Предположим, мы знаем, что за последние три года (i) X% просителей убежища подали ложные заявления о риске преследований; (ii) заявления лишь небольшой части (скажем, 20%) этой подгруппы были приняты; и (iii) в результате число ложных заявлений о предоставлении убежища составляет около 200 человек в год. Безусловно, в этом случае утверждение, что «страну захлестнули фальшивые просители убежища», несоразмерно.

Само собой, это еще не конец: контрутверждение может привести лишь к очередному раунду обмена заявлениями. Но это не делает вопросы пропорциональности, соответствия и уместности неважными, неактуальными или устаревшими (потому что все, что у нас есть, в конце концов, это репрезентация). Основные эмпирические требования в рамках каждого нарратива обычно можно объяснить с помощью самой элементарной методологии социальных наук. Было бы неправильно отвергать такие выводы просто как «притязание на истину», не имеющее «привилегированного статуса». Утверждения о прошлых статистических тенденциях, текущих оценках и экстраполяции в будущее также открыты для изучения.

Проблема в том, что природа состояния — «что на самом деле произошло» — заключается не только в количестве модов, которые разбили столько-то шезлонгов на такую-то сумму, и не в количестве четырнадцатилетних девочек, заболевших после приема таблеток экстази в таком-то ночном клубе. Вопросы символизма, эмоций и репрезентации не могут быть переведены в сопоставимые наборы статистических данных. Такие качественные термины, как «уместность», передают нюансы морального суждения более точно, чем (подразумеваемая) количественная мера «непропорциональности», — но чем лучше это получается, тем более очевидно, что эти термины социально сконструированы.

Критики правы в том, что нельзя настаивать на универсальном мериле для определения зазора между действием и ответным действием и в то же время признавать, что процедура измерения социально конструируется, а решение о том, какую панику следует «разоблачить», постоянно выдавать за политически непредвзятое.

### *3. Непредсказуемость*

Критика «слева» всякий раз начинается с упоминания исследования Холла и его коллег «Наводя порядок в кризис» (1978) о медийной и политической реакции на уличное насилие, в особенности грабежи, совершаемые чернокожей молодежью. Эта критика противопоставляет предполагаемые теорией стигматизации отдельные, возникающие тут и там моральные паники, обусловленные прихотями моральной инициативы (сатанинские культы на этой неделе, матери-одиночки на следующей), теорией государства, политической идеологией и интересами элит, действующих сообща с тем, чтобы обеспечить гегемонию и контроль над публичной новостной повесткой. Это отнюдь не изолированные, спорадические или внезапные, а предсказуемые переходы от одного очага напряженности к другому; каждое движение патрулируется общими интересами всех сторон.

Для некоторых теорий это скорее последовательность, чем контраст. Дискретная и непредсказуемая моральная паника действительно могла когда-то существовать, но теперь ей на смену пришла обобщенная моральная установка, перманентная моральная паника, опирающаяся на бесшовную паутину социальных тревог. Политический кризис государства переносится на более уязвимые цели, создавая атмосферу враждебности к маргинальным группам и культурной девиантности. Даже самая мимолетная моральная паника преломляет интересы

политической и медиаэлит — легитимизацию и отстаивание устойчивых паттернов политики закона и порядка, расизма и таких мер, как массовое лишение свободы<sup>37</sup>. Важность медиа заключается не в роли агитаторов или распространителей моральной паники, а в том, как они воспроизводят и поддерживают господствующую идеологию.

Этот последовательный нарратив — от дискретного к обобщенному, от неустойчивого к постоянному — звучит привлекательно. Но когда все случилось? И в чем именно состоял переход? Тезис Томпсона, к примеру, гласящий, что моральные паники все быстрее сменяют друг друга, не отрицает их непредсказуемости. Его мысль состоит в том, что они носят все более повсеместный характер (паника по поводу жестокого обращения с детьми распространяется на само существование семьи), однако здесь нет никакого сдвига, потому что обращение к повсеместности («дело отнюдь не ограничивается этим») было определяющей чертой понятия.

Понятие «перманентная моральная паника» — не столько преувеличение, сколько оксюморон. По определению, паника является самоограниченной, временной и скачкообразной, это всплеск ярости, который выжигает себя сам. Время от времени выступления, телевизионные документальные фильмы, судебные процессы, парламентские дебаты, заголовки и редакционные статьи сливаются в своеобразном режиме управления информацией и выражения возмущения, который мы называем моральной паникой. Каждое из этих проявлений может опираться на один и тот же пласт политической морали и культурной тревоги и — подобно микросистемам

---

<sup>37</sup> См.: *Chambliss W.J. Crime Control and Ethnic Minorities: Legitimizing Racial Oppression by Creating Moral Panics // Ethnicity, Race and Crime / D. Hawkins (ed.). Albany: State University of New York Press, 1995.*

власти Фуко — иметь схожую логику и внутренний ритм. Моральная паника успешна благодаря своей способности находить точки резонанса с более широким кругом тревог. Но любой призыв — это ловкость рук, магия без мага. Моральная паника указывает на преемственность в пространстве (*дело... отнюдь не ограничивается этим*), с прошлым (*часть тенденции... намечавшейся годами*), с условным общим будущим (*растущая проблема... будет усугубляться, если ничего не предпринимать*). Что для саморефлексивного общества несет важное метасообщение: *это не просто моральная паника.*

Элемент непредсказуемости следует изучать с двух сторон. Во-первых, почему полномасштабная паника вообще заканчивается? Поначалу моими ответами были только догадки: 1) «естественная история», которая заканчивается выгоранием, скукой, выдыхается и затухает; 2) немного более сложное понятие изменения моды — как стиль одежды, музыкальный вкус; 3) предполагаемая опасность сходит на нет, медиа или блюстители морали кричат «волк» слишком часто, их слова дискредитируются; 4) информация была воспринята, но легко растворилась, что в частной жизни, что в публичном спектакле, — конечный результат, описанный ситуационистами как *рекуперация*. Второй вопрос касается неудачной моральной паники. Почему, несмотря на наличие ряда ингредиентов, она так и не возникла для следующих пунктов: слабоалкогольные коктейли; компьютерные хакеры; нью-эйдж культуры и путешественники; матери-лесбиянки; суррогатное материнство как бизнес; массовое убийство в начальной школе Данблейна; похищение детей из больниц; клонирование...

Непредсказуемость нуждается в тщательной координации. Если идея паники одомашнивается под скучной социологической рубрикой «коллективного поведения», то политическая грань понятия притупляется. В этой тра-

диции моральная паника лишь отражает страхи и опасения, которые являются «частью человеческого состояния» или «чуждаковой стороной человеческой природы» и «действуют вне стабильных, упорядоченных структур общества»<sup>38</sup>. Верно и обратное: без «стабильных, упорядоченных структур» политики, массмедиа, борьбы с преступностью, вероисповедований и организованных религий не может случиться ни одной моральной паники.

МакРобби и Торнтон правы в том, что сегодняшние более изощренные, самоосознательные и фрагментированные медиа делают первоначальную идею скачкообразной («то там, то сям») паники устаревшей<sup>39</sup>. «Паника» — скорее модус репрезентации, в рамках которого до сведения общественности регулярно доводятся будничные события:

Это стандартная реакция, знакомая, порой утомительная, даже нелепая риторика, а не какое-то особенное непредвиденное вмешательство. Моральные паники конструируются изо дня в день и используются политиками для координации согласия, бизнесом для продвижения продаж... и медиа для того, чтобы сделать внутренние дела и социальные вопросы достойными новостей<sup>40</sup>.

Но, разумеется, не то чтобы «изо дня в день». Теорию моральной паники действительно стоит пересмотреть, чтобы она соответствовала преломлениям мультимедийированных социальных миров. Но случаются неожиданные, странные и аномальные вещи: убийство Джеймса Балджера не является ни будничным событием, ни знакомой историей. Репертуар медийных и политических дис-

<sup>38</sup> Goode E., Ben-Yehuda N. Moral Panics... P. 104.

<sup>39</sup> McRobbie A., Thornton S.L. Rethinking “moral panic” for multi-mediated social worlds // British Journal of Sociology. December 1995. Vol. 46. No. 4. P. 559–574.

<sup>40</sup> Ibid. P. 560.



курсов вынужден разрабатывать специальные конвенции, чтобы перевести аномалии в повседневные и долгосрочные тревоги. При этом они все равно должны оставаться в формате проходящего и скачкообразного — сущности новостей.

Фрагментарное и интегрированное принадлежат друг другу: у моральной паники есть своя внутренняя траектория — микрофизика возмущения, — которая, однако, инициируется и поддерживается более масштабными общественными и политическими силами.

#### *4. Хорошая и плохая моральные паники?*

Возражение, что «моральная паника» является оценочным понятием, простым политическим эпитетом, заслуживает более пристального внимания. Очевидно, что использование этого понятия с целью разоблачения непропорциональности и преувеличения исходит изнутри леволиберального консенсуса. Этот эмпирический проект сфокусирован на тех случаях, когда моральное возмущение возникает под влиянием консервативных или реакционных сил (если он не заточен только под такие случаи). Для культурных либералов (сегодняшних «космополитов») это была возможность осудить блюстителей морали, высмеять их ограниченность, пуританство или нетерпимость; для политических радикалов речь шла о легких мишенях, будь то мягкая сторона гегемонии или интересы элит. В обоих случаях суть заключалась в том, чтобы разоблачить социальную реакцию не просто как чрезмерную в некотором количественном смысле, но, во-первых, как *тенденциозную* (т.е. с креном в определенном идеологическом направлении) и, во-вторых, как *неуместную* или *смещенную* (т.е. направленную — намеренно или бездумно — на цель, которая не составляет «реальной» проблемы).

По мере того как этот термин распространялся и прямым текстом употреблялся в медиа, либеральное и/или антиавторитарное его происхождение оспаривалось все более открыто. В тэтчеровском консерватизме действительно было популярным отстаивать *именно* метаполитику и каузальные теории, подпитывающие моральную панику, и критиковать уничижительное использование этого понятия как симптом «потери связи» с общественным мнением и страхами «простых людей». Эта популистская риторика по-прежнему фигурирует в новом лейборизме — приняв очаровательный поворот, с которым многие, чьи корни уходят в либерализм *The Guardian* (и кто использовал это понятие ранее), нападают теперь на «жаргонизмы левых», за то, что те употребляют термин столь избирательно.

На британской публичной арене дискуссия застряла на этом уровне журналистской полемики. Воображаемая последовательность:

- *The Sun* сообщает, что в Олдхэме четырнадцатилетняя школьница напала на учителя с ножницами после того, как он отчитал ее за использование грязных выражений. Учителю потребовалась госпитализация из-за нанесенной раны. Девочка «азиатского происхождения»; учитель — белый. Полиция расследует инцидент; местный депутат утверждает, что в этом году число таких нападений со стороны девочек удвоилось. История со стандартными подробностями (отец девочки был просителем убежища; учителя в других школах были слишком напуганы, чтобы высказаться) раскручивается в таблоидах еще два дня;

- на четвертый день *The Guardian* публикует аналитический обзор одного из своих журналистов. Газета призывает к осторожности во избежание полномасштабной моральной паники. Полиция, школа и управление образования отрицают, что число таких инцидентов растет; никто не знает, откуда у депутата взялась статистика. Рана учи-

теля была поверхностной. Такое безответственное освещение играет на руку экстремистским партиям, участвующим в местных выборах. *Реальными* проблемами в таких местах, как Олдхэм, являются институционализированный расизм в школах и особое давление, которое родители-иммигранты оказывают на своих дочерей;

- на следующий день редакция *Daily Telegraph* осуждает статью в *The Guardian* за намеренную попытку уклониться от проблемы и исказить ее во имя политкорректности. В очередной раз ярлык «моральной паники» используется для того, чтобы приуменьшить страхи и тревоги простых людей — учителей, учеников, родителей, которые изо дня в день вынуждены жить в атмосфере насилия. Сейчас выясняется, что два месяца назад местный профсоюз школьных учителей предупреждал, что насилие в школе вынуждает учителей уходить из профессии.

Эта последовательность позволяет по-разному прочитать отношения между моральной паникой и политической идеологией. 1) Самая слабая версия рассматривает понятие как нейтральный описательный или аналитический инструмент, ничем не отличающийся от других терминов в этой области (таких как «кампания» или «общественное мнение»). Так уж сложилось, что термин используется левыми либералами (и их социологическими приятелями) для того, чтобы подорвать консервативные идеологии и принизить тревоги общества, стигматизируя их опасения как иррациональные. Но термин остается нейтральным, а его употребление можно легко подвергнуть инверсии. 2) В несколько более сильной версии либеральное присвоение термина зашло слишком далеко для того, чтобы его употребление можно было подвергнуть инверсии. Сложно ожидать от консерваторов, что они попытаются разоблачить либеральные или радикальные опасения как «моральную панику». 3) Третья версия идет дальше. Генеалогия термина, его нынешнее упо-

требление и народный смысл допускают лишь одно прочтение: термин не просто «оценочный», но предназначен для того, чтобы быть критическим инструментом разоблачения господствующих интересов и идеологий. Сцена школьного насилия изображает один раунд в битве между культурными репрезентациями.

Эти позиции не имеют под собой прочной опоры. В некоторых случаях логика стигматизации социальной реакции как моральной паники действительно может привести к разного рода невмешательствам («оставить все как есть»): либо потому, что реакция основана на буквальном заблуждении, либо потому, что проблема не заслуживает такого чрезмерного внимания. Трудные случаи более интересны — существование проблемы признается, но ее когнитивная интерпретация и моральные следствия отвергаются, замалчиваются или оспариваются.

Такие реакции формируют именно дискурс отрицания: *буквального отрицания* («ничего не произошло»), *интерпретативного отрицания* («нечто произошло, но не то, что вы думаете») и *имплицативного отрицания* («то, что произошло, на самом деле не так уж плохо и может быть оправдано»). Вместо того чтобы разоблачать моральную панику, моя собственная культурная политика заключается в *поощрении* чего-то вроде моральной паники по поводу массовых злодеяний и политических страданий и попытках разоблачить стратегии отрицания, которые применяются, чтобы не допустить признания этих реалий. Все мы, работники культуры, занятые конструированием социальных проблем, выдвижением требований и определением публичной повестки, думаем, что разжигаем «хорошую» моральную панику. Возможно, мы могли бы целенаправленно *воссоздать* условия, которые сделали панику вокруг модов и рокеров столь успешной (преувеличение, сенсбилизация, символизация, прогнозирование и т.д.) и тем самым преодолеть барьеры от-

рицания, пассивности и безразличия, которые мешают в полной мере признать человеческую жестокость и страдания.

Нарочитой легкости и простодушию, с которыми СМИ заманивают в обычную моральную панику, можно противопоставить глубокое отрицание — именно оно стоит за их отказом поддерживать моральную панику в связи с пытками, политическими расправами или страданиями людей в отдаленных точках. Безразличие медиа и общественности даже объясняется такими тяжелыми состояниями, как «усталость от сострадания»<sup>41</sup>. Так, Мёллер описывает когнитивное и моральное оцепенение, при котором порог внимания повышается настолько стремительно, что медиа отчаянно пытаются «ужесточить» критерии, которым должны соответствовать раскручиваемые сюжеты. В иерархии событий и тем СМИ травма лодыжки у футболиста будет стоять выше, чем политическая расправа.

Иногда (как показывает Мёллер в своем анализе освещения сюжетов в Боснии и Руанде) медиа пытаются создать моральное беспокойство, но при этом борются с ощутимым отрицанием со стороны аудитории. Речь идет не столько об усталости, сколько о стремлении избежать сострадания: «Они отворачивались от изображений разложившихся трупов или распухших тел, плавающих вдоль берегов рек, — даже когда считали, что сюжет важен»<sup>42</sup>. Смещение пороговых значений внимания — непонятная логика роста и падения сострадания, размытые границы того, что считается нормальным, — выглядят точно так же, как непредсказуемость моральной паники.

---

<sup>41</sup> Moeller S.D. Compassion Fatigue: How the Media Sell Disease, Famine, War and Death. N.Y.: Routledge, 1999.

<sup>42</sup> Ibid. P. 306.

Я завершил свою книгу расплывчатым предсказанием: появится больше «безымянных» народных дьяволов. Сегодня причины делинквентного поведения прояснились: климат недоверия и дарвиновский индивидуализм, порожденные тэтчеризмом и поддерживаемые новым лейборизмом; недостаточно регулируемая рыночная экономика; приватизация государственных услуг, урезание социальных пособий, растущее неравенство и социальная изоляция. Преступники безымянны не в банальном смысле — ведь я не мог предсказать названия субкультурных стилей, которые заменят модов и рокеров, — а потому, что они остаются такими же анонимными, как школы, жилые кварталы и пригороды, из которых они вышли. В терминах служб социального контроля визуальное и вербальное воображение используется с большей изобретательностью: надзор за преступностью, ситуационное предупреждение преступлений, система охранного видеонаблюдения, нулевая терпимость, трижды попался — сядешь надолго, санкции за антиобщественное поведение. Социальная политика, некогда считавшаяся ненормальной, — заключение сотен просителей убежища под стражей в центрах содержания, управляемых частными компаниями как карательные транзитные лагеря для получения прибыли, — рассматривается как нормальная, рациональная и конвенциональная.

Мысль о том, что проблемы общества социально конструируются, не ставит под сомнение их существование и не снимает вопросов, касающихся причинно-следственных связей, профилактики и контроля. Эта идея привлекает внимание к метадискуссиям о признании проблемы и ее сути. Вопрос, действительно, в *пропорциональности*. Безусловно, невозможно точно оценить человеческие издержки преступлений, девиантности или нарушений прав человека. Нюансы преднамеренно причиненных страданий, ущерба, жестокости, утраты и незащищенности

слишком сложны, чтобы их можно было расположить в точном, рациональном или общепринятом порядке. Однако некоторые расхождения настолько грубы, некоторые заявления настолько преувеличены, некоторые политические программы настолько тенденциозны, что их можно назвать лишь чем-то вроде «социальной несправедливости».

У социологов нет привилегий, позволяющих указывать на ситуацию и предлагать меры по ее исправлению. Но даже если их роль сводится к простому выдвиганию требований, они должны не только разоблачать *недостаточную реакцию* (апатия, отрицание и равнодушие), но и проводить сравнения, которые могут выявить *чрезмерную реакцию* (преувеличение, истерия, предрассудки и паника). Эти «реакции» можно сравнить с перцептивной областью, которую занимает социология риска: оценивается не сам риск и не управление им, а то, как он воспринимается. Даже если речь не идет о физической опасности (смерть, причинение боли, финансовые потери), установление и укрепление моральных границ во многом похоже на сравнение физического и морального загрязнения, приведенное Мэри Дуглас. Восприятие людьми относительной серьезности очень многих различных социальных проблем нельзя изменить в один момент. Причина в том, что сама когнитивная способность контролируется обществом. И важные в этом вопросе знания несут массмедиа.

Вот почему в моральной панике конденсируется политическая борьба за контроль над средствами культурного воспроизводства. Изучать это легко и весело, а исследуя их, мы также помогаем идентифицировать и концептуализировать линии власти в любом обществе, то, как нами манипулируют, заставляя воспринимать одно слишком серьезно, а другое — недостаточно серьезно.